

# Игорь Шестков "Жемчужное ожерелье"

## ЖЕМЧУЖНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ

Рядом с огромным зданием Государственной Типографии, похожим то ли на Лубянку в Нью-Йорке, то ли на Рокфеллеровский Центр в Москве, на которой день и ночь неутомимые греи печатали денежные знаки Зодиака, стояла небольшая деревянная избушка. Или домик. Одной стеной домик примыкал к Типографии. Сверху он выглядел как детский кубик, приклеенный к чемодану десятиметровой высоты.

Сторожка? Сарайчик? Будка театрала?

От вибрации ротационных машин будка подрагивала и подрыгивала, крыша ее неприятно покачивалась, а внутри ее был постоянно слышен гул и скрежет адской денежной мельницы капитализма.

Лино звал единственную комнатку этого домика-будки, помещение с униженно низким и непонятно зачем высоким потолком, – каптеркой, потому что на трех ее стенах висели книжные полки Машкова, заставленные не книгами, а каким-то старым и пыльным военно-гражданско-оборонным барахлом.

Сапоги. Гимнастерки. Фронтальные подштанники. Пустые кобуры Макарова.

Денегные автоматы с продырявленными дулами. Катюши и Машки. Учебные гранаты с перевала Дятлова. Противогазы дяди Сережи из Свердловска. Миги и фантомы ускользающей реальности. Дозиметры чернобыльские обыкновенные. Вещевые мешки Лукашенко. Гаубицы и танки бледной моли.

Все это воняло допотопной пластмассой, гниющей кожей, резиной и реакцией.

В сапогах и противогазах жили телефоны-мастигопроктусы и сольпуги, называемые также фалангами, которых Лино безуспешно пытался давить ногами и ресницами. Что эти несчастные насекомые в каптерке ели, когда и где спали, где они заряжали свои мобильники, все это оставалось загадкой и для Лино и для его напарника-орангутанга, Верзилы-Бобби, который хватал когтищами мастигопроктусов за их мощные педипальпы и, невзирая на струйки уксусной

кислоты, которыми отчаявшиеся насекомые прыскали в его круглую усатую обрзину, разрывал их тела своими лошадиными зубищами и жрал их, воинственно чавкая и борясь за мир во всем мире. Бобби был по национальности корейцем, но Лино он почему-то представлялся монголом-завоевателем. Современным Чингисханом. Вот Бобби вытаскивает свою кривую шашку и на всем скаку отрубает голову убегающему русскому блондину-подмастерью. Блондин бежит дальше без головы. Ему так легче. А вот сидит в синей шелковой палатке и принимает от различных народов дань – арбузы и тугрики. По его усам течет хмельная брага успеха.

Родители Лино были древними греками. Младенцем его унес орел, оказавшийся на поверку чужой манифестацией. Кажется, орел все-таки разодрал его на части, которые пришлось склеивать с помощью минеральной воды.

Четвертая, замызганная и темная, стена каптерки была украшена портретами Фрэнка Синатры в шляпе и генсека Черненко в гоголевской шинели, а также крохотным оконцем, из которого открывался удивительный вид на батальонный двор, заваленный ржавыми канистрами с потрохами убиенных младенцев и отработавшими свой век типографскими прессами. Между ужасными этими машинами шныряли худые пегие собаки, похожие на енотов. Или на бобров. Или на сусликов. Нет, пожалуй все-таки на бобров. Нет, на енотов. И это окончательно и обжалованию не подлежит. Как захоронение в Кремлевской Стене.

Однажды Верзила-Бобби поймал одну енотовидную сучку на панели. Как же она сопротивлялась! Как пела... что твоя канарейка! Царапалась и орала благим матом, партизанка фуева. Притащил ее в каптерку. И давай...

Верзила чесал ее шерстистой головкой свои небритые щеки... нюхал ее партийную промежность и лизал своим длинным лиловым языком с желтыми крапинами ее живот. Потом Бобби отвернулся вместе со своей трясущейся добычей к стене... как-то странно заёрзал и замычал... и Лино услышал тоскливый вой и захлебывающийся скулящий лай насилуемого животного. А потом собака непристойно завизжала и захохотала как диктор центрального телевидения и упорхнула в Японию, как сибирские сепаратисты.

Подоконник, рамы и небольшая форточка так заросли грязью и похотью, что

никому и в голову бы не пришло это оконце открывать. В каптерке Лино было душно, но тепло и привычно. К диким выходкам своего соседа он относился терпимо. Лино, хоть и терпеть не мог насилие, но еще в юности перестал осуждать и себя и остальное человечество за все творимые на нашей скучной планете гадости. Человек, как и орангутанг, – грязное подлое животное, готовое убивать и мучить своих близких и далеких, – говорил он сам себе, – и ты точно такой же. Все зависит только от воспитания, погоды, исторических обстоятельств и от политики номенклатуры.

И горечь этой полуправды не отравляла ему жизнь, а помогала замыкаться в себе и познавать свою природу.

В этой же стене была вонючая дверь, обитая жестью и пахнувшая благовониями. Тяжелую эту дверь украшал старинный медный замок на Луаре, уже наверное пять столетий как сломанный. Вмятины и царапины на его позеленевших боках доказывали, что не одно поколение обитателей каптерки пыталось этот замок открыть без ключа и без ветрил или выдрать его из двери как зуб мудрости. Но безуспешно, господа, безуспешно.

Ручки у двери не было, открыть ее было не легко. Для этого приходилось, ломая ногти, скрести ее занозистую боковую сторону. Поддевать ее за бретельки от бюстгальтера. Дверь при этом звенела, что твой колокольчик на молодецких плечах. И трясла спелыми средневековыми грудями.

Лино обычно мучился минут двадцать, прежде чем ему удавалось открыть проклятую дверь. Верзила-Бобби сидел в это время на своем стуле как Чингисхан на троне и демонстративно отрешенно смотрел в никуда, на кончик своего голубоватого носа. Казалось, он не замечал мучений Лино, не замечал вообще ничего, был глубоко погружен в себя. Но Лино знал, что никакой «глубины» в обезьяньей душе Верзилы нет, нет и самой души, и его отрешенность всякий раз была только маской Герострата, которую Верзила-Бобби охотно надевал для того, чтобы мирно и всласть подремать.

Выходить на двор было необходимо, потому что в каптерке не было туалета. А во дворе туалет был – общий, грязный, на полтора очка. Пользовались им не только Лино и Верзила-Бобби, но и шоферы привозящих в Типографию бумагу и краски грузовиков и охранники специальных бронемашин, увозящих из

Типографии товар – сотни тысяч упакованных в целлофан банкнот в громоздких контейнерах.

Брезгливые греи этот полуторный дворový туалет обходили стороной. Для них был построен специальный суперсортир в форме летающей тарелки, снабженный антигравитационным насосом. Он висел в сотне метров над крышей типографии и греи карабкались на него по канатам.

Один раз денежный контейнер сорвался с металлического крючка из-за неловкого движения руки крановщицы и упал на асфальт. Раскрылся. Несколько пачек тысячных банкнот выпали из него и позорно убежали с места действия.

Одна из них от удара взорвалась как хлопушка во дворце Фридриха Великого. Во дворе как персиковые голуби залетали деньги. Лино заметил, что в обычно ничего не выражающих, пустых и наполненных различными смыслами и ожиданиями глазах Верзилы-Бобби, загорелись и замерцали звезды... Большая Медведица и Южный Крест.

Верзила зевнул, и из его пасти вылетала галактика Андромеды. И все из-за денег!

При приеме на работу начальник, коротконогий, обрюзгий и лысый, но очень деловой господин Пратт, сказал Лино, подхихикивая ноздрями и голеньями и показывая три сотни маленьких, почерневших от курения зубов: «Прежде наш Бобби занимался грабежом банков. Несколько лет ему это сходило с рук. Затем он попался. Загремел в тюрьму. Со следователями был груб. Не хотел выдавать зачинщиков. Так и не сказал, где они спрятали добычу. Был направлен за это на курс интенсивной гипнотерапии профессора Касперского, сопровождающийся лечением электрошоком. После третьего сеанса все понял, осознал свою вину и исправился. Выступил на митинге в защиту Стивена Кинга. Показал тайник в тридцати километрах от города, на страусиной ферме, в заброшенном киоске, где раньше торговали куриными яйцами и перьями экзотических птиц. И имена сообщников выдал. Нацарапал клинописью на берестяной грамоте. И положил в лучевой короб. Вышел из тюрьмы за три года до окончания срока президентства Клинтона. Из-за примерного поведения на фронтах Гражданской. Поэтому мы его и взяли в сторожа... как специалиста так сказать... по изготовлению яблочного джема и традиционного японского супа из головастика... хм-хм...

Говорят, в тюрьме его лоботомировали раскаленным металлическим прутом энтузиасты-сокамерники и использовали позже как пассивного педераста-застрельщика. Тем лучше. Потому что он потерял волю к жизни и способность к сопротивлению коммунистическому режиму. Возможно, до вас долетели слухи, что прежнего напарника Бобби, Соломона Боне, нашли на дворе Типографии мертвым, с перерезанным горлом... К тому же его жестоко изнасиловали безотносительно к вышесказанному... Да-с. Но вы не бойтесь котов и дирижаблей, Бобби – монгол смирный, он на такое черное дело не способен, и, хотя виновные в этом тяжком преступлении так и не будут найдены, руководство полагает, это были румынские мстители-инкассаторы, задумавшие кражу невинности... вспомните нашумевший случай с Люсиль К., посещавшей школу для посольских детей в Шварцвальде... возможно уличенные или шантажированные Боне. Покойник был и хитер, и жаден, и недалек. Вот его и умучили. А может быть, он перехитрил самого себя. Так часто бывает в мире финансистов и фрилансеров».

Пол в каптерке был яшмовый. Утоптанная земля была покрыта слоем пыли и трухи, которая когда-то была свежей еловой стружкой на подвенечном одре с вуалью. Стружка эта или труха пахла почему-то болотной тиной и марципанами. Ночью она флуоресцировала как сестрорецкий планктон. Лино это нравилось. Он часто не спал по ночам, смотрел на волшебный мерцающий свет на полу и представлял, что плывет на кораблике в Тихом Океане и наслаждается простором и свежим ветром перемен. Считал огоньки и слоников, и потихоньку напевал песенку про Фанданго Харума.

Освещала каптерку единственная лампочка накаливания, свисающая с середины темного потолка на старом и жухлом двойном шнуре. Лино не раз представлял себе... как он или она взбирается на стул, осторожно вывинчивает лампочку с шуршащей никелевой спиралью и кладет ее в карман штанов, аккуратно делает петлю, продевает в нее голову... прощается с жизнью и показывает пылающим небесам язык... и опрокидывает неловким движением ноги алюминиевый стул с треснувшей деревянной спинкой, на которой была довольно реалистично нарисована шариковой ручкой сцена совокупления коня и толстенной негрятки-трехмоторки, а после... не корчится в агонии и экстазе, а

обрушивается всей своей неловкой коровьей тушей на пол... лампочка лопається в его кармане и режет его стальное бедро... и он сидит на грязном полу... обсыпанный штукатуркой вечности, с выдравшимся из потолка обрывком двойного шнура на верблюжьей шее... с вывихнутой лодыжкой Иакова, порезанным бедром и с дикой головной болью... вынужденный продолжать свою прогорклую, бессмысленную и такую сладкую жизнь. Представлял себе, как тупо и равнодушно смотрит на него Верзила-Бобби и сплевывает в угол... а потом вскакивает и гонится за поблескивающим металлическими клешнями мастигопроктусом... настигает его... и долго рассматривает его мохнатое брюшко перед тем как всунуть в пасть и смачно разгрызть.

Убирайся к черту, подонок, – истошно, но беззвучно кричит Лино самому себе и всему прогрессивному человечеству, но успокаивается в бедламе собственных мыслей.

Поначалу Лино работал так – четверо суток в каптерке, неделю дома, месяц – на средиземноморском побережье Португалии и еще полчаса в горах заснеженной Мальты.

Но дома у него было нехорошо. Пусто, одиноко, не прибрано. Кошки стонали, ежики выпили все молоко, отопление не работало. Электричество уже год, как было отключено за неуплату ипотеки. Соседи казались Лино безобразными чудовищами, человеко-тараканами. Подъезд наводил на него ужас своими москитами и сталактитами.

Родные Лино перемерли и разъехались. Мертвые были вечно заняты, а уехавшие дружно потеряли адреса его электронной почты. Друзья уже много лет как исчезли в космических даях. Сидят себе в зарослях можжевельника на спутнике Сатурна и в ус не дуют.

Любимой женщины у Лино лет десять как не было. Последняя умерла в городской больнице от воспаления легких три недели назад. Лино рыдал два дня, еще день смеялся, а потом затих, ушел в себя с головой, да так из себя и не вышел. Не смог даже заставить себя пойти на ее похороны. Несмотря на то, что она так звала. Пончики приготовила с брусничным вареньем и вальтовым мясом и салат из косточек бегомота с трюфелями. Специально ездила в зоопарк.

И сейчас... после стольких лет одиночества... он забыл ее лицо, забыл и ее имя.

Забыл даже запах ее... Забыл лица матери и отца... жен, и детей. Не помнил даже то, что они когда-то существовали, и любили его, и он любил их... в его душе не звучало эхо от этой любви... не светили теплые лучи гиперболоида... он все забыл и похерил.

Будущего у него не было, только настырно дпящееся настоящее, черная материя и другие измерения.

Лино едва уговорил ломаку Пратта позволить ему неделю проводить в каптерке, а четверо суток дома. Пратт позволил, но без увеличения квартплаты.

А затем... Лино решил больше никогда не возвращаться домой и не посещать веселых вечеринок, от которых никакого толку не было, и остался в каптерке навсегда.

Годы потянулись за годами... два вперед и три назад... и он постепенно забыл и о доме, новые хозяева которого давно сожгли его пожитки и его потасканную мумию, продали его книги и картины... и если бы его выгнали из каптерки, Лино не смог бы найти дорогу к храму Хомы, заросшую бурьяном и терниями. Верзила-Бобби тоже не имел другого пристанища. Визу в Татаро-Монголию ему закрыли еще месяц назад.

Так они и жили-сторожили. Лино все пытался поймать фалангу, а Бобби ловил и пожирал казенных мастигопроктусов. На календарь они и не глядели.

Электроникой не пользовались. Окружающий мир был им безразличен. И друг другу они не мешали. Днем сидели на стульях, смотрели в окошко, а ночью спали на койках в разных углах каптерки. Азия дремала, а Европа не чуяла беды. Раз в две недели скряга Пратт давал им ключ от душевой кабины для шоферов.

Заставлял их мыть посуду после совместного обеда членов правления

Типографии. Тарелочки звяк-звяк-звяк и капут...

Умывались и чистили зубы они во дворе, там был кран, из которого текла чистая морская вода. А утекала вода в пресную решетку под краном. Воду кипятили – на воняющем керосином примусе, стоящем на маленьком столике под окном, там же Лино готовил себе бутерброды из купленных в типографском ларьке хлеба и колбасы. Делился этой нехитрой стряпней с Верзилой-Бобби. Верзила неохотно брал бутерброд, откусывал от него кусок и мгновенно глотал, не жуя. И никогда не благодарил Лино или вышестоящих товарищей. Говорить Верзила

по-видимому в каптерке разучился... или никогда не умел... Лино впрочем и не хотел с ним разговаривать. Хотел высунуть навсегда свой родной язык, выкинуть наконец из головы осточертевшие слова, заменить их танцующими кроликами, крепенькими орешками.

Однажды ночью Верзила-Бобби неожиданно заквакал. Громко и ясно как день. Он несколько раз повторил: «В ту ночь Александру приснилось жемчужное ожерелье. Квак-квак-квак!»

Не спящий Лино, считающий кузнечиков на своем животе, был так ошарашен, что не сразу понял, что Верзила имеет в виду. А когда понял, спросил, с трудом припоминая и соединяя слова: «О чем это ты, Бобби? Какому Александру приснилось? Македонскому, что ли? Или императору всероссийскому? Королю Шотландии? Или брату Молона?»

Верзила продолжил: «Будто идет он по песчаному пляжу. Идет и идет и вдруг видит жемчужное ожерелье. На песке валяется. Жемчуга – в три ряда. И бриллиантовая застежка. А рядом с ним сидит тетушка Петунья в шезлонге, пьет как всегда после обеда свой Арманьяк. Тетушка Петунья спрашивает Александра: Ты не знаешь, дорогой кузен, сколько лет я тут сижу? Александр отвечает: Ты сидишь тут с тех самых пор, как ты умерла в своем задрипаном шато, а я украл у тебя, мертвой, это жемчужное ожерелье».

Бобби проснулся и, подавленный перепетиями судьбы, больше ничего не говорил. Только искал глазами мастигопроктуса пожирнее.

А Лино упал в объятия пьяной вакханки и успокоился. И даже не кричал больше по ночам: «Хочу, чтобы все было как раньше! Тритатушки тритата».